



Светлые  
книги

Маруся  
Светлова

# Одна надежда на любовь

ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ



Рассказы для души

Маруся Светлова

**Одна надежда на  
любовь (сборник)**

«Маруся Светлова»

2012

УДК 159.9  
ББК 88.37

**Светлова М. Л.**

Одна надежда на любовь (сборник) / М. Л. Светлова — «Маруся Светлова», 2012 — (Рассказы для души)

ISBN 978-5-904777-14-2

Книга о любви в ее разных проявлениях – от страсти, пробуждающей другого человека, делающей его живым, – до любви, принятия и прощения людей, которых трудно любить и простить. Такая разная любовь – и такая необходимая. Любовь как условие жизни. Любовь как сам смысл жизни...

УДК 159.9

ББК 88.37

ISBN 978-5-904777-14-2

© Светлова М. Л., 2012  
© Маруся Светлова, 2012

## Содержание

Ожившая картина	6
Конец ознакомительного фрагмента.	30

**Маруся Светлова**  
**Одна надежда на любовь**

© Светлова М., 2012

\* \* \*

## Ожившая картина

Она просто смотрела на картину, которая простиралась перед ней, и картина эта была прекрасна. Зеленые склоны гор и зеленые долины бесконечной чередой уходили вдаль. И на протяжении всей этой безграничной картины не было никаких строений, никаких столбов высоковольтных линий, ничего – только зеленые склоны и зеленые долины. И казалось ей, что терраса, с которой она смотрела на эту картину, – конец мира, конец жилой части земли, и дальше – только горы, долины и больше ничего. И много неба было над всем этим пейзажем. И небо тоже было – бесконечное, высокое и в то же время очень близкое.

И эта природа в ее первозданном нетронутым виде почему-то волновала ее. На фоне ее собственной бесчувственности эта картина была такой живой, что вызывала у нее, застывшей, какие-то чувства: удивления, восхищения силой и масштабами, новизной самого вида – так много бескрайней природы она еще никогда не видела.

Год назад, когда она с Алешкой-большим и Алешкой-маленькой приехала в этот город, ее поразил этот вид. Сюда, к этому склону, к этой террасе привел их группу экскурсовод. Потому что это был беспроектный ракурс: бесконечное чередование гор и долин, без всяких следов цивилизации. И в их группе возник ропот – от восхищения, удивления поразительно широким и величественным видом бескрайних просторов. И она тогда сказала Алеше:

– Вот бы тут пожить, в этом доме... Господи, ты представляешь – как здорово тут жить! Просыпаться утром и видеть в окно эти горы и бесконечный пейзаж, и бесконечное небо, и выходить на эту террасу и смотреть отсюда на весь мир, и чувствовать себя на краю мира...

И она с завистью посмотрела на дом, обычный для этого маленького городка, выложенный из белого камня и покрытый красной черепицей. Он был и обычным, и совершенно необычным, потому что стоял на краю города, и выходил прямо на крепостную стену, которая почти развалилась от времени и была похожа на маленькую древнюю балюстраду, ограждавшую дом с террасой от просторов, которые расстилались дальше.

И Лена задержалась у этого дома, отстав от группы, потому что это место как-то тронуло ее сердце, и она с интересом смотрела на дом, на раскидистое, старинное дерево, росшее рядом с ним, на террасу, всю увитую диким виноградом, на старое плетеное кресло, покрытое таким же старым пледом, который хранил очертания человека, сидевшего в нем. И пол террасы был земляной, с каким-то естественным травяным покрытием, и была эта терраса – частью живой природы. Живой и прекрасной. И кто-то прошел в глубине террасы, и она даже не разобрала – мужчина это или женщина, но позавидовала этому человеку как-то пронзительно: «Господи, вот счастливчик! Жить тут – какое счастье, какое поразительное везение... Вот бы мне...»

Она уезжала тогда именно с этой мыслью, и когда автобус выехал на горный перевал и этот маленький городок на вершине соседней горы весь лежал перед ними, она склонилась Алешке на плечо и сказала ему убежденно, как клятву произнесла:

– Когда-нибудь я здесь обязательно поживу! Обязательно! И именно там, в доме с террасой, выходящей на край земли...

– Я бы тоже хотел здесь пожить, вернее – пописать этюды. Место для этюдов здесь потрясающее, – сказал он, но она замотала головой, протестуя:

– Ну, нет, сюда надо приезжать одному! Этот город – для одиночества, для тишины... – И, видя, как он сердито нахмурил брови, сказала примирительно, хотя и понимала, что его нахмуренные брови – не больше, чем игра: – Ну ладно, приедем сюда вдвоем, но жить будем в разных концах городка, чтобы не встречаться... Чур, мое место – тот дом с террасой, а ты живи, где хочешь, но чтобы ты мне там на глаза не попадался...

– Бедная девочка, – думала она сейчас, сидя в этом старом плетеном кресле, – разве думала она тогда, что все сбудется так, как сказала, только в то же время совсем не так? Разве

такой хотела она приехать сюда?! Разве такой неживой хотела она сидеть здесь каждое утро и каждый вечер? Разве так она хотела, чтобы он не попадался ей на глаза? Как много отдала бы она сейчас, чтобы увидеть его хоть раз, увидеть прежним, улыбающимся или хмурым брови, задумчивым, ушедшим куда-то вглубь себя. Любим. Но только – живым...

Она познакомилась с ним в Италии, и это было так давно, что казалось, это было вообще в какой-то другой жизни, в жизни какой-то другой женщины. И это действительно было так. Она была тогда совсем другой – молодой, и открытой, и очень живой. Она смеялась, и лицо ее было живым, и она как-то живо реагировала на все, что видела, слышала, ощущала. И эта живость ее, и открытость, распахнутость и привлекла его к ней.

Он был совсем другим – молчаливым и сосредоточенным, он был где-то в глубине себя – и сколько раз они потом ссорились из-за этого! Она очень легко приняла это его качество там, в Италии, и оно ей так нравилось – но сколько раз в их жизни вдвоем, а потом и втроем, с маленькой Аленкой, она говорила, а иногда и кричала:

– Ты где? Тебя нет! Ты где-то там, где нам нет места... Мы – что-то неважное для тебя... Где уж нам, мы не доросли, чтобы ты о нас думал, нашел нам место в своих мыслях, своем времени, своих картинах...

Она была резкой иногда, точно. Она требовала внимания и времени, ей хотелось нормальной семьи, такой, в которой у Аленки был бы «нормальный» папа, и в которой у нее был бы обычный, «нормальный» муж – а не мечтатель, который уходит куда-то в свой мир и может быть там часами, и днями может быть в мастерской, и потом, как-то мучительно, ощущая каждую клеточку холста, и каждое волокно кисти, и мазок краски, выписывать этот мир на холст. И это был его мир. Только его. И она злилась, что нет там ей с дочерью места.

Она часто была несправедлива к нему. Она и раньше это понимала, понимала иногда, что просто сучит какой-то женской сучностью, что просто хочется ей привязать его, посадить около себя. Но она также понимала: сядь он рядом и стань таким обычным и послушным – не был бы он ей так нужен...

Она впервые тогда была в Италии, и попала она туда только благодаря своему знанию итальянского языка. Как права была ее мама, переводчица с итальянского, которая все детство зудила ей, как надоевшая оса:

– Учи язык! Учи язык!.. Язык – это пропуск в другой мир, да когда же ты это поймешь!..

Она говорила это Лене и ее старшей сестре. Только Лена как-то сопротивлялась всем этим уговорам, может быть, просто предчувствовала, к чему это ее приведет. И она избегала разговоров на итальянском или находила какие-то причины, чтобы не читать учебник.

И иногда, когда Лена отодвигала учебник или отказывалась отвечать матери по-итальянски, та читала ей целые лекции о ее безалаберности. Или только говорила:

– Елена! – и уже это «Елена», сказанное с грозной интонацией, говорило обо всем: и о том, что она не использует возможностей, и о том, что надо быть полной дурой, чтобы не знать язык, когда родная мать его знает, и можно по полчаса в день говорить по-итальянски, и научиться ему, что это – редкий язык, и знание его может выделить ее, будущую студентку филфака, потому что по-английски сейчас говорят все, а по-итальянски – единицы, и она может быть этой единицей, но предпочитает висеть на телефоне и тратить время на бестолковые разговоры со своей подругой, которую ни одна нормальная мать не захочет видеть подругой своей дочери...

Ее мать была редкостной занудой, но, надо отдать ей должное, она своим занудством и пилением чаще всего добивалась, чего хотела, и «добивала» других. И как оказалось, иногда это действительно шло на пользу другим. Лена знала итальянский если не в совершенстве, то, во всяком случае, очень хорошо, и ей нравился этот язык, его напевность и экспрессивность, и что-то знойное было в этих: «Buongiorno... Come vai?.. Ci vediamo...»

Именно благодаря своему знанию языка она и попала в Италию, и материал, за которым она поехала, был необычен и также экспрессивен, как и сам итальянский язык. «Профессия – стриптизер» – так назывался ее материал, и она вдоволь насмотрелась в те дни мужского стриптиза, которого до того никогда в жизни не видела, и была вовлечена в мир такой чувственности и мужской красоты и сексуальности, что не раз, звоня в редакцию, говорила:

– Да мне молоко надо за вредность выдавать! Таких мужиков видеть, можно сказать, в руках держать – и сохранять приличное поведение... Мне бы сейчас мешок денег-я бы половину этих мальчиков купила, просто чтобы поближе рассмотреть, руками потрогать...

Но мешка денег не было. Денег хватало только на то, чтобы оплачивать небольшие интервью или время для общения с самыми яркими представителями этой изысканной и жгучей профессии.

Но очарование этих мужчин спустя какое-то время пропало полностью, потому что при более близком общении оказывались они какими-то тупыми, что ли. Просто сильными самцами. Иногда – примитивными. Иногда – откровенно циничными, даже похабными. Иногда так яростно озабоченными, что хотелось отстраниться от них. И она, что называется, с чувством выполненного долга отстранилась от этого мира красивых мужчин, которые научились зарабатывать деньги своими телами, своими улыбками, и игрой мускулов, и той безумной притягательностью, которой обладает красивый мужчина, который знает, что он красив и что он – дорого стоит...

Именно после общения с этими мужчинами она и обратила свое внимание на Алешку. Она потом не раз говорила ему:

– Господи, какое счастье, что я на этих мужиков насмотрелась и меня от них тошнить стало! Иначе бы я тебя просто не заметила. Потому что тебя трудно заметить, когда ты куда-то там забуряешься в самого себя. Ты вообще становишься незаметным, просто сливаешься с окружающим миром, как существо, способное к мимикрии...

Она увидела его в баре своего отеля. Он просто сидел с каким-то отрешенным лицом, и лицо это было одухотворенным, и было в нем что-то очень высокое и красивое. Красивое какой-то другой красотой, не красотой самца, а красотой какого-то парения.

Сколько раз потом она любовалась этим выражением его лица. Сколько раз – ругалась с ним, ненавидя его за это выражение лица. Но тогда именно эта одухотворенность и погруженность вглубь себя и привлекли ее. И еще – его руки.

Руки у него были необычные. Прекрасными были его руки. С длинными пальцами, какие-то очень живые, чувствующие. Руки художника. И как часто он, сидя вот так в своем отрешении, был где-то там мыслями, и руки его тоже были там, и что-то вздрагивало в них, как будто он, незаметно даже для себя, делал невидимые зарисовки.

Она была не права, когда говорила о том, что не было им с Аленкой места в его картинах. Сколько раз они вместе с дочкой рассматривали папины картины, искали себя там – и находили. И не потому, что он их изображал, нет, просто в той серии картин, которая принесла ему потом известность и которую он так выгодно продал, было изображено много людей. Много каких-то схематичных, немного наивных, как будто бы детских изображений. И картины эти были необычны – яркие, очень теплые пейзажи или города, в которых угадывались, находились люди. Как в детских играх: «Отыщи на картинке десять человечков»...

Это был его мир и его какой-то необычный, немного наивный и детский стиль изображения мира. Какие-то солнечные человечки с едва намеченными, размытыми лицами были частью его картин и сутью их – потому что за этой наивностью изображения, в этих теплых красках прорисовывался очень светлый и добрый мир хороших людей, и было их на картинах много. Лене иногда казалось, что он ими, этими человечками, рисует свои картины, как мазками... И они с Аленкой искали там себя и находили. И Аленка всегда радовалась, когда находила какое-то сходство и кричала:

– Папа, я еще себя нашла, смотри – вон там, на травке... Пап, смотри, а вот мама!.. Пап, а вот еще – мама!..

И он подходил к ним с улыбкой и смотрел с интересом, где это они там себя нашли, потому что, конечно же, не их он изображал, и права она была иногда: им не всегда было место в его мире...

А в том мире, в котором она жила сейчас, не было их – Алешки-большого и Алешки-маленькой. И не потому, что им не было в нем места. Они уже занимали место в каком-то другом мире, и миры их были параллельны.

И это было самое страшное, что с ней произошло.

Это была его, Алешкина, идея – поехать всем вместе в ту туристическую поездку. Лена была против: совсем не хотелось ей ехать с Аленкой, которую они в последнее время часто стали называть Алешкой-маленькой, в страну, где в отеле для малышей не было никаких особых условий, и она горячо убеждала его, что лучше им опять всем вместе поехать в Турцию. Там – клубные отели, и ребенка можно сдавать аниматорам, и самим по-человечески отдыхать...

Сейчас ей было даже странно, что она так часто хотела избавиться от Алешки-маленькой, отдать ее кому-то: то маме на выходные, то аниматорам, то с нетерпением ожидать понедельника, когда можно отвести ее в детсад.

Сейчас она не отпустила бы ее от себя никуда. И ушла бы с работы, и стала бы нормальной мамой, которой и должна была быть – чтобы хоть несколько лет, самых важных в жизни ребенка, побыть с ним рядом, побыть для него, занимаясь с ним, читая ему, играя с ним, водя его на танцы или плавание. Но – такой мамой она не была и уже не будет.

И как-то быстро промелькнула перед ней картина, в которой она – та Лена, которой она была когда-то, как-то тупо и упрямо говорила людям в черном, не узнавая в них ни маму, ни сестру, ни соседей:

– Мне нужно ее причесать... Я ее только причешу, я ее не причесывала... Вы только откроете, я ей косички заплету – и опять закроете...

И ее увели куда-то, и гроб этот маленький, какой-то неправильный, нереальный, потому что просто не должно быть в жизни таких вот маленьких детских гробов, не открыли. Потому что нечего там было причесывать. И нечего заплетать. Но она как-то тупо и упрямо повторяла:

– Я только ее причешу...

Она перешагнула через это воспоминание. За время, что прошло с тех страшных дней, она научилась просто перешагивать через эти воспоминания, как будто они были не про нее. И они точно были не про нее. Она стала другой – неживой и бесчувственной. Потому что иначе – нельзя было жить...

И сейчас она сидела на этой террасе, смотрела перед собой на долины, покрытые полями и лесами, и думала о том, что это ему была нужна та поездка. Он так хотел, чтобы они все были вместе, наверное, потому, что тоже не чувствовал себя хорошим папой и мужем в общепринятом смысле этих слов. Он редко бывал с ними, уходил в свою мастерскую или просто уходил куда-то глубоко в себя. Осознавал ли он истинные мотивы своего желания так провести отпуск? Этого она не знала и никогда уже не узнает.

Он горячо защищал эту поездку, говоря, как основной аргумент, что он хочет отдыхать не только телом, как в Турции, куда они уже ездили с маленькой Аленкой, но и душой. Ему нужны новые впечатления, новая страна, новые эмоции. Он хочет именно турпоездку – с экскурсиями и сменой впечатлений.

И именно на этот его аргумент она и ссылалась в спорах с ним: ну куда им ездить по турпоездам, таская за собой четырехлетнюю Ленку? Она – непоседливая и громкая, она –

ребенок, которому нужно сидеть на берегу пляжа играть с камушками, или плескаться в воде, или играть с аниматорами в какие-то детские игры, или смотреть мультики в видеозале...

Но, удивительное дело, Апенка как-то легко вписалась во все их поездки. И, пока они с интересом смотрели на какой-нибудь древний дом с таким же древним гербом и слушали экскурсовода, Аленка где-то в сторонке общалась с обычной, ничем не примечательной местной кошкой или выкапывала из земли какой-то корешок, в общем, жила своей детской жизнью, вполне довольная происходящим. И поездки в комфортабельных автобусах она переносила спокойно, только иногда забывалась, глядя в окно, и начинала громко петь, но пение ее, детское и чистое, каких-то всем известных песенок про Мамонтенка или Антошку вызывало только умиление у группы, и все текло изо дня в день хорошо и спокойно.

По вечерам, а иногда и целыми днями, свободными от экскурсий, они лежали на пляже и были семьей – дружной и веселой семьей. Только теперь она поняла это. И, наверное, именно для этого Алешка тогда настоял на поездке.

Они были семьей, шумной и дружной, и бегали вместе по воде, догоняя друг друга, или учили плавать Аленку. Потом, накупавшись и утомившись и от воды, и от солнца, они обедали в пляжном ресторане и шли в свой коттедж. И у них был тихий час, и они спали как дети, сладко, раскидывая в постели ноги и руки, и сон этот тоже сближал их, потому что, просыпаясь, они еще возились в постели, и это был живой и веселый клубок тел, и было столько их визга и писка и рычания Алешки, который на них нападал...

А потом они снова шли на пляж, ели мороженое в кафе или пили сок, и она любила пить кофе в маленькой кофейне на углу и закуривать тонкую и легкую сигарету – и это тоже было частью отдыха, – позволить себе просто расслабиться, пока Алешка-большой кормит Алешку-маленькую мороженым...

А по ночам они дожидались, пока заснет Аленка, и тихонько выходили на веранду. В первые дни они еще старались говорить шепотом, чтобы не потревожить ее сна, чтобы она дала им возможность побыть вдвоем, но быстро убедились, что спит она крепким здоровым детским сном, вымотанная купанием и солнцем, и они могли громко смеяться, увлекаясь в разговоре, и только занимаясь сексом, им приходилось сдерживать себя, чтобы не разбудить дочь.

Это было какое-то удивительное ощущение в той их поездке: их ночи, когда все вокруг стихало, и они входили в коттедж, и слышно было тихое и ровное дыхание дочери, и что-то возникало между ними, уже забытое – как тогда, в Италии, – они просто могли смотреть друг на друга, и сами их взгляды притягивали их, и могло быть не сказано ни слова, но каждый понимал желание другого.

Какая-то близость опять возникла между ними. И было так странно и немного обидно, что в их повседневной жизни так редко в последнее время хотелось им быть вместе, ласкать друг друга, хоть были для этого все условия.

Два года назад они въехали в двухкомнатную квартиру. И квартира эта, хоть и была не новой, и купленной на общие деньги – родителей и их самих – была для них радостью, потому что почти четыре года прожили они сначала с ее мамой, иногда – в его семье, и все это было сложно, и чувствовали они себя скованно, и все чаще он уходил в мастерскую, потому что там было лучше и свободнее...

Но в этом новом их жилье тоже почему-то не складывались их отношения, он все чаще уходил в себя, а она – злилась и сучила, и даже когда они были близки, что-то скованное было в их телах, она как бы стыдилась его и сдерживалась, не могла отдаться, открыться той страсти, которая жила в ней раньше.

Тут же, в их коттедже, состоящем всего-то из открытой веранды, ванной и большой комнаты, в которой стояла двуспальная кровать и куда была принесена детская кроватка для Аленки, где вообще не было условий, чтобы уединиться – они «попали в секс». Они просто

влипли в страсть, в знойную, пылкую страсть, и, пока Аленка спала, раскинув загорелые ручки и ножки, они любили друг друга в ванной.

Это была какая-то бурная, животная любовь, и она старалась не кричать – и не могла не кричать. И она несколько раз искусала его плечи, потому что просто не знала, как выплеснуть эти чувства, если нельзя было выплеснуть их в крик...

И так было каждую ночь – какое-то безумство, опьянение от тел друг друга, от этой запретности и осторожности, которую они должны были соблюдать. И даже днем, иногда, когда он подхватывал ее с лежака или поднимал в воде, она как-то животно возбуждалась от его рук. И поворачивала к нему голову так стремительно и страстно, и взгляд ее был таким проникающим, что он тоже как-то бледнел и сжимал ее сильнее – и отталкивал, потому что, казалось, они могут просто не справиться со своими телами и отдадутся друг другу прямо тут, на берегу или в воде, на глазах у всего пляжа...

Это был хороший отпуск, такого у них никогда не было. И уже не будет никогда. С ними у нее уже никогда и ничего не будет. Она это уже поняла. Поняла и приняла, хотя очень долго не могла этого принять. Не могла, просто не могла принять того, что утром ей некого будет будить, что никого не надо ждать, что ничьи ручки не обхватят ее за шею и никто не прошепчет в самое ухо:

– Ты моя самая любимая мама...

И что его руки больше никогда не прикоснутся к ней, и она не увидит каких-то живых, нервных подрагиваний его рук, когда он где-то там, со своими картинами. Он где-то там...

Она хотела попасть туда. Хотела быть с ними. Был такой момент, когда она не могла смириться с тем, что она не ушла с ними. Что ее не было с ними тогда, когда случился этот взрыв и этот страшный пожар. Она должна была быть с ними – и ее не было. Она позвонила им и сказала, что едет. И еще сказала: вы кушайте без меня, не ждите... Они и кушали без нее. Они были на кухне, когда это случилось. Поэтому и погибли сразу. И потом ей много раз говорили, утешая ее:

– Они ничего даже не успели почувствовать... Они не мучились. Для них все закончилось в одну секунду... Они ничего даже не почувствовали...

В один из дней, когда все устали настолько, что перестали следить за ней, она поняла простую и очень важную вещь. Ей просто надо быть с ними...

Она посмотрела вдаль, и взгляд этот был спокойным, как будто вспоминала она какую-то чужую историю, историю чужой женщины. Вот жила-была женщина. И любила она свою семью, и семья ее погибла. И она тоже решила быть с ними... Просто история как история. Мало ли какие бывают истории.

Она только как-то неосознанно поправила браслет на левой руке. Широкий серебряный браслет, который носила постоянно, не думая, что под ним скрывается. Мало ли у кого где какие шрамы. Но мама тогда, после больницы, когда ее, всю обколотую транквилизаторами, вернули домой, купила ей этот браслет и сказала:

– Носи... Тебе идет...

И ей было все равно. Пусть будет, если ей так нравится...

Она еще долго жила в каком-то полусне. Потом, постепенно выходя из-под действия препаратов, она стала молчаливой и задумчивой. И сказала однажды:

– Я хочу уехать за границу. Я хочу побыть одна...

И, увидев, как нахмурилась мама, как переглянулись они с сестрой, сказала:

– Обещаю, что я ничего не сделаю... Я хочу отдохнуть. Я хочу начать писать...

Это уж было полное вранье, но они приняли его. Хотя прошло очень много времени, прежде чем она осуществила свое желание. Но тогда, когда она так решила, она впервые будто бы обрадовалась.

Потому что в последнее время все чаще думала, что не вписывается в картину этой жизни. Потому что чужая во всей этой жизни, в которой больше не было Алешки-большого и Алешки-маленькой. И подумала: нарисуй ее, эту картину, Алешка – она не нашла бы себя на ней, сколько бы ни искала. Потому что не было ей тут места.

И ей хотелось уехать куда-то, где все тоже будет чужое, и она там будет чужая. И ей будет нравиться быть чужой. Ей хотелось уехать туда, где ее никто ее знает. И никто от нее ничего не ждет. И она не является укором своей совести, что расстраивает мать и никак не внемлет советам сестры – забыть все и жить дальше.

Перешагивать через воспоминания и отстраняться от всего пережитого, как от переживаний чужой, незнакомой ей женщины, она научилась. Но ей хотелось тишины. Тишины и покоя. Чтобы никто ее не знал. Чтобы о ней забыли. Чтобы позволили ей быть той, которая она есть – неживой и бесчувственной. И все.

И она вспомнила об этом городке, куда они однажды заехали на экскурсию, и сразу решила, что именно в нем она и будет жить. И именно в том доме с террасой. И в этом не было дани прошлому. Просто среди миллионов маленьких тихих и спокойных уютных городков она уже знала один, и знала, что там ей место. Там, на террасе, где кончается жилая часть мира и можно просто сидеть, просто смотреть. Просто жить и быть собой, такой, какой она была...

И она сделала то, что хотела. И, хоть переговоры с турагентством были долгими, потому что запрос ее был необычен, но деньги и время сделали свое. И она жила в этом городке уже вторую неделю. И сидела в плетеном кресле. И теперь, наконец, была спокойна. Просто спокойна – и все. Мертва и спокойна. Как и должно было быть.

...В этом магазинчике они купили тогда тяжелую и красивую бутылку из темно-синего стекла, и бутылка эта была необычна, что-то было в ней загадочное, таинственное, как будто и не в магазине сувениров купили они ее, а нашли на дне моря.

Что-то старинное было в ней, в ее необычной форме, в плотном слое стекла, чересчур тяжелой она была, и стояла она потом на полке в их кухне. И потом снилось Лене, как осколок этой бутылки торчал в стене, как будто вбили его туда молотком, но никто его не вбивал – он сам воткнулся туда, разрезав поверхность стены, нарушив все физические законы. И синяя клякса была на полу, и она понимала, откуда эта синяя клякса. И этот сон стал ее кошмаром, и во сне она сама себе говорила: так не бывает, чтобы осколки бутылки врезались в стену или становились кляксами. Но это опять и опять повторялось в ее снах, и было так страшно, что бутылки могут становиться синими кляксами, а живые люди – неживыми...

В этом же магазинчике они купили тогда Алешке-маленькой необычный цветок, сделанный из стекла. Цветок с плоскими яркими стеклянными лепестками, покрытыми, как шоколадом, разноцветной глазурью.

Точно такие же цветы, как те, что купили тогда Алешке-маленькой, все также продавались в этой лавке. Делала их женщина-художница, которая жила в квартире над лавкой, и Лена еще в прошлый раз познакомилась с ней. И теперь, заходя сюда, Лена здоровалась с ней – и ничего не покупала, просто смотрела на выставленные витражи, вазы – и на эти цветы. Такие же цветы. Только стоили они теперь дороже.

Она запомнила тогда их цену. Стоил тогда такой цветок десять евро, и можно было купить один цветок, или несколько, или целый яркий букет, составленный из таких необычных цветов, стоящих в специально подобранном по цвету керамическом горшке. И Аленка просила, уговаривала ее купить целый букет, и ей самой хотелось купить такой необыкновенный букет, но она пожалничала, и купила тогда Аленке один цветок, еще не привыкла она тогда легко отпускать деньги.

Это потом, спустя несколько месяцев, Алешка вдруг стал известным, у них появились деньги. И как она хотела на деньги, полученные от продажи его картин, купить новую квар-

тиру! Она уже начала фантазировать, как они живут в новой квартире. Начала узнавать цены и возможности купить квартиру в рассрочку, чтобы на деньги, вырученные от продажи картин, купить большую квартиру.

Как горячо она убеждала его, что им нужна другая квартира – современная и свободная. Квартира, в которой у него может быть своя мастерская. Где у них может быть отдельная спальня. Сколько аргументов она приводила ему, сколько слез пролила от злости, но он уперся, как бык: его устраивает эта квартира. Он хочет машину, именно ту, которую он хочет. И желание это было не похоже на него: в нем не было амбиций, он был очень прост в своих потребностях, как большинство художников, но тут – какая-то страсть была в его словах, когда он говорил об этой модели, и она в какой-то момент сдалась, махнула рукой – его деньги, в конце концов, пусть покупает, что хочет...

И как она кляла себя потом, после случившегося. Ведь она же что-то предчувствовала тогда, хотела из этой квартиры выбраться. Не хотела она в ней жить, не нравилось ей там – и не зря. Настояла бы она на покупке квартиры – и не было бы их в тот день в этом старом доме, и этот взрыв газа не разрушил бы их квартиру, их жизни – сколько бы всего не произошло, если бы только произошло одно событие: если бы они купили квартиру.

Она часто думала об этом, сидя на террасе – о том, как одно событие влечет за собой другое.

Так было с итальянским языком: не выучила бы она его, не поехала бы в Италию, не посмотрелась бы тогда на стриптизеров и не заметила бы Алешку, и они бы не поженились, и у них бы не родилась Леночка, так он захотел ее назвать, чтобы была еще одна Леночка – маленькая. Только все равно потом сами же они ее и переименовали, уж очень она была похожа на папу, вот и стала Алешкой-маленькой. И не было бы Алешки-маленькой, и не было бы желания жить отдельно, и не купили бы они эту недорогую квартиру в ветхом доме, и не попали под этот разрушительный взрыв... Как много всего не произошло бы – не знай она итальянского языка. И иногда она думала: а может, не надо было уступать маме – и она не поехала бы в Италию, и не встретила его, и жизни их сложились как-то по-другому. Но – он был бы жив.

Но получалось, что Алешка-маленькая просто бы не родилась – и это тоже было неправильно. И она окончательно запутывалась в этих своих рассуждениях, и опять перешагивала через свои мысли и воспоминания, как через что-то чужое, что не имело к ней никакого отношения.

Потому что она ничего не возвращала. В ней ничего не болело. Все это было в той жизни, которая закончилась. А сейчас была совсем другая жизнь, даже не жизнь – так, проживание одного дня за другим, как по предписанию врача.

Проснуться. Умыться. Причесаться. Одеться. Выпить кофе в маленьком ресторане у старенького, какого-то игрушечного мостика, перекинутого через такую же игрушечную, какую-то ненастоящую речушку.

Потом сидеть на террасе и смотреть, смотреть, смотреть и – ни о чем не думать. Просто пропускать через себя мысли и воспоминания. Позволяя им течь через нее, не задерживаясь и не задевая, просто пропуская через себя.

И так – до обеда. Потом обед в том же ресторане за тем же столиком. На том же самом месте – чтобы видеть край мощеной улицы и этот игрушечный мост, и дворик, в котором всегда сидел старенький художник, и ей казалось, он ничего не пишет, просто сидит так. Как она на террасе. И тоже просто проживает свою жизнь. Просто в его распорядке есть еще пункт – сидеть с мольбертом во дворе дома и смотреть на маленький город с этого места...

Она выбрала именно этот небольшой ресторан, выбрала, прожив неделю в этом городке, в котором и жителей-то было человек триста, не больше, и все было маленькое – магазинчики, и лавки сувениров, и дома, и улочки, и рестораны.

В городе было три ресторана, посещали их в основном туристы, и она выбрала именно этот ресторан – он находился во внутреннем дворике какого-то старого дома, и место это было какое-то далекое, как из старины. И эта какая-то игрушечная, ненастоящая речушка, и деревянный мост через речушку, казались ненастоящими, как декорации в театре. И старичок-художник на дальнем плане был частью этих декораций, но все это вместе создавало какую-то законченность и было похоже на старую картину. И она была частью этой картины – одинокая закрытая женщина, всегда приходившая сюда в одинаковое время и садившаяся на одно и то же место, указанное для нее на этой картине.

Она выбрала этот ресторан, благо кормили здесь хорошо и просто и обслуживали спокойно и достойно. Все, на самом деле, это были глупости – и как ее обслуживали, и что она ела. Просто она наметила себе какой-то маршрут своей новой неживой жизни.

Проснуться. Умыться. Причесаться. Одеться. Выпить кофе в этом ресторане. Потом – днем здесь же пообедать. В этом была какая-то стабильность, а именно стабильность ей и была нужна. Потому что мертвые – они стабильные. Им не нужна новизна и эмоции. Им нужна застывшая, которая и есть стабильность.

И она так и жила. Обедала в этом ресторане. Потом шла домой, в ту часть дома, которую ей отвели хозяева, с отдельным выходом на террасу. И спала – крепко и глубоко, как спят тяжелобольные.

Потом была прогулка по маленькому городу, по его мощеным улицам. И маршрут этой прогулки тоже был выверен, всегда один и тот же. И она шла не спеша, и даже не очень-то смотрела, куда идет и что ее окружает. Просто надо было идти – вот она и ходила.

И по пути всегда заходила в этот магазинчик, в котором они купили подарки Алешке-большому и Алешке-маленькой. И – ничего не покупала. И ей уже ничего не предлагали. Привыкли к ней, как к чудаковатой туристке, которая заходит сюда каждый день, молча все осматривает. Стоит у стены, и взгляд ее – ушедший куда-то в себя. И о чем она думает, где она – одному Богу известно...

А потом она пила кофе в том же ресторане. И все тот же официант, что кормил ее утром и днем, приносил ей кофе, и она даже не смотрела на него, просто узнавала белую рубашку и черные брюки – отличительную особенность всех официантов всех ресторанов в этой маленькой стране, в этом она убедилась еще в прошлый раз, когда они втроем объездили большую часть этой страны, побывав в десятках таких маленьких ресторанов.

Потом она ужинала, потом – просто сидела на своей террасе в уже ставшем привычным плетеном кресле, и смотрела на картину, расстилавшуюся перед ней, и смотрела, как садится солнце. И так – каждый день.

И в этом не было никакого смысла и ничего нового и живого.

Разве что звонки маме раз в три дня. Но разговоры эти были тоже застывшими и однообразными:

– У меня все хорошо, – говорила она и была бы рада сразу после этого положить трубку. Но – она выслушивала один и тот же мамин вопрос:

– Как ты себя чувствуешь?..

– Нормально, – говорила она одно и то же, и каждый раз знала, что мама хочет спросить ее, и не может, боится спросить, стало ли ей легче, стала ли она живой? Но мама боялась этих вопросов, наверное, просто боялась ее мертвых ответов, поэтому она говорила:

– Как тебе пишется?

– Нормально, – отвечала Лена. И, чтоб смягчить свои, какие-то безжизненные ответы, она говорила:

– У меня все нормально, не волнуйся. Ем, сплю, пишу...

Она перечисляла весь свой больничный режим, привирая только в том, что пишет что-то. Но – пишут живые и чувствующие люди. Она же была неживой.

И после разговора с мамой она опять или ходила по городу, или сидела на террасе и смотрела вдаль. И думала. И вспоминала, что вспоминается. И вспомнила почему-то, как пожадничала и не купила букет стеклянных цветов.

Синяя бутылка стоила дорого, и букет стоил дорого, и она, которой Алешка всегда доверял распорядиться деньгами, выбрала бутылку, потому что она понравилась Алешке. И пожадничала денег на букет стеклянных цветов.

И часто потом она думала: может, выбери они тогда не бутылку, а букет – не произошло бы ничего страшного, и ей бы не снился синий осколок, врезавшийся в стену, и синяя клякса.

И иногда, думая об этом, она корила себя за то, что пожадничала. Может, купи она тогда букет, какая-то новая цепь событий начала бы разворачиваться. И что-то бы изменилось.

И эта мысль – какая-то спокойная и отстраненная – вдруг задела ее: а что если и правда, необычный или смелый поступок может сломать, изменить цепь событий, которые следуют одно за другим?

И она снова и снова думала: может, купи она тогда целый букет этих удивительных стеклянных цветов, что-то изменилось бы в чередке событий, и этот букет защитил бы их квартиру, и Алешка-большой и Алешка-маленькая были бы с ней сейчас в этом маленьком городке.

И она думала об этом, как о некоем новом возможном законе и опять – отстраненно, потому что теперь уже ничего нельзя изменить в их жизнях. А ее жизнь была неважна, и была не жизнью, а все той же чередой действий:

Проснуться. Умыться. Причесаться. Одеться. Выпить кофе в ресторане...

Едва переступив границу этой страны, она перешла на итальянский язык. Здесь, в этой стране, итальянский язык был очень распространен, она знала это по опыту прошлой поездки. По-итальянски говорил персонал во всех отелях, все официанты владели этим языком если не свободно, то очень приемлемо.

Она сразу перешла на итальянский не потому, что хотела, чтобы ее принимали за итальянку – она прекрасно понимала, что в таком маленьком городке уже на второй день будут знать о ней все, что узнают о ней ее хозяева. Просто не хотела она говорить по-русски. Хотела быть чужой даже для себя.

И она не любила слышать русскую речь. В такие минуты ей казалось, что ее опять хотят затолкать в какую-то картину, в которой нет ей места. Она уходила с террасы, когда экскурсоводы приводили туда русские группы, и она слышала все те же восторженные возгласы, в которых была зависть, и зависть была во взглядах, которыми ее провожали, когда она уходила с террасы, чтобы дожидаться отъезда туристов.

Приходя в ресторан, она, как всегда, не поднимая глаз, ровным и безжизненным голосом делала заказ, даже не глядя на официанта – в ней как-то не осталось интереса к жизни, и была такая погруженность в себя, что ей сейчас позавидовал бы даже Алеша.

Поэтому заметила она его не сразу. Прошло много дней до того момента, когда она взглянула на него, встретила с ним глазами и чуть позже впервые внимательно его рассмотрела. Но сначала она увидела кольцо на его руке, и рассмотреть ей пришлось его кольцо.

В то утро она, как всегда, заказала себе кофе и сидела на своем обычном месте, смотря на всю эту привычную картину со своего ракурса. И со стороны она выглядела обычной женщиной, пришедшей выпить кофе. Она много раз вот так сидела раньше в разных ресторанах или кафе, сидела с чашкой кофе и с обязательной легкой сигаретой. И сейчас все было так же, только курить она бросила еще в тот день, когда все это случилось. Просто что-то заклинило у нее в голове, и не могла она видеть огонь, и не хотела пользоваться газом и зажигалкой...

Она сидела за столиком, ожидая, когда официант принесет ей кофе. Она сидела и просто смотрела на ставшую уже привычной картину: маленький уютный дворик, какой-то игрушечный мостик через малюсенькую речушку. И она опять отметила какую-то игрушечность этого

мостика, его детскость, что ли – как будто мостик этот сделан для детей, и тут с такой пронзительной остротой проснулось в ней воспоминание, что вот именно здесь, на этом мостике она и сфотографировала их вдвоем.

Алешка-маленькая держалась за перила этого мостика, и был он ей по размеру, что ли, и Алеша присел рядом, чтобы вписаться в этот маленький масштаб. Да, именно такая фотография, где они улыбаются ей, и этому солнечному дню, и этому смешному мостику, была у нее.

И воспоминание это вдруг вызвало такую боль, такую страшную, какую-то животную боль, которую она уже давно не испытывала, потому что давно помертвела для таких воспоминаний. Но это воспоминание было совсем нечаянным, внезапным, и поэтому – таким болезненным. Оно обрушилось на нее так неожиданно, что она не успела закрыться, и боль просто резала ее по тому скрытому, живому, что в ней еще осталось. От такой вот боли она несколько месяцев назад и резала вены, сидя в ванной, ожидая только одного – бесчувственности.

И самое болезненное в этой боли было то, что ничего от них не осталось. Даже фотографии этой не осталось, ничего. Все сгорело тогда, расплавилось и изуродовалось, и не осталось ничего – ни одной Аленкиной игрушки, ни какой-нибудь вещицы.

Она помнила, как оттолкнула ногой какой-то черный уродский оплавленный комок на полу выгоревшей квартиры, и это был Аленкин любимый мишка, и в этом был такой ужас, такой ужас, такой ужас...

И на лице ее, наверное, сейчас тоже был ужас, потому что она услышала обращенное к ней:

– Сеньора, вам плохо?..

И она ничего ответила, просто не могла отвечать, потому что расплакалась бы и плакала, и плакала бы, если только разрешила бы себе плакать. Но она уже научилась каменеть и в одну секунду ожесточаться.

– Сеньора, я могу вам чем-то помочь? – услышала она, и перед ее опущенным лицом появились руки, которые осторожно поставили перед ней чашку с кофе, и она просто замотала головой, но эти руки оставались перед ней, поправляли чашку, двигали сахарницу, и она вцепилась взглядом в эти руки, потому что уже знала: чтобы не расплакаться, нужно просто отвлечься, перенести куда-то внимание, и она вцепилась глазами в кольцо на его руке, благо кольцо это было необычное, и он, как бы почувствовав ее уловку, продолжал что-то переставлять и оглаживать скатерть, и она уже успокаивалась, отвлекая себя:

– Вот какое кольцо интересное... Бирюза в золоте... Никогда не видела, чтобы камушки бирюзы были вправлены, как-то вплавлены в золото, и кольцо это – не мужское, впрочем, и не женское, какое-то необычное кольцо, и одето оно на мизинец...

И она сама с собой так продолжала говорить, даже когда руки исчезли из поля ее зрения. Это был спасительный прием, она знала. Много раз она вот так заставляла себя отвлекаться, чтобы не позволить себе чувствовать то, что не хотела чувствовать. И она уже почти вздохнула спокойно, когда этот вопрос опять прозвучал, прозвучал очень требовательно, и она подняла глаза и встретила с ним взглядом. Он просто присел на корточки с другой стороны стола, чтобы поймать взгляд ее опущенных глаз, и взгляд его черных глаз был пронзительным и глубоким:

– Сеньоре нужна моя помощь?

– Сеньоре ничего не нужно, – сказала она, уже привычно надев на себя маску отстраненности. И, увидев недоверие, какое-то сомнение в его глазах, добавила:

– Спасибо, вы очень любезны. – Она сказала ему это таким же любезным тоном, какого требовала эта фраза. – Мне ничего не нужно...

И про себя подумала по-русски: «Пошел вон, козел! Пошли все вон! И не трогайте меня...»

И она выпила кофе в этом молчаливом ожесточении, и пошла к себе, на свое привычное место, в свою привычную бесчувственность. Но, уходя, она посмотрела в сторону официанта и именно тогда впервые увидела его всего, рассмотрела, что ли.

Он стоял, опираясь о дверной проем, в какой-то красивой и ленивой позе, как стоят обычно очень красивые и знающие себе цену мужчины. Что-то высокомерное и в то же время порочное было в нем, в том, как он стоял, как посмотрел на нее и улыбнулся ей. И эта улыбка была какой-то опасной.

И она подумала вскользь, что он, скорее всего, итальянец, по крайней мере, итальянская кровь в нем точно есть. Она насмотрелась на итальянских мужчин и научилась выделять их среди других.

И лицо его, смуглое, с густыми черными бровями, с крупным ртом, было красиво. И голова, с гладко причесанными волосами, стянутыми на затылке в небольшой густой хвост, была красивой формы. И прядка волос, как бы ненароком выбившаяся из этой гладкости, обрамляла его лицо и была волнующей и сексуальной. Он был красив. И красота эта была ей известна. Весь он был ей как-то понятен, что ли. И она подумала, что он бывший стриптизер. Она подумала об этом как-то вскользь, но уверенно. Как диагноз поставила. И ушла.

Она забыла о нем через секунду, и день ее прошел как обычно, как все дни до этого. Она так же долго сидела и просто смотрела на простирающиеся перед ней долины, и мысли просто текли в ней, протекали через нее, но уже спокойные, отстраненные, как будто мысли эти были о другой женщине.

И она опять вспомнила, как ничего не осталось от них, только картины мужа в мастерской, и она закрыла тогда мастерскую, потому что его мир закончился. А потом, уезжая сюда, она отдала ключ его другу, чтобы он сам занялся выставкой и продажей картин, и она не захотела себе ничего оставить, потому что там, в этих оставшихся картинах – не было ни ее, ни Аленки, и она хотела, чтобы все это уже закончилось.

Прошел тот период боли, и отчаяния, и такого глубокого горя, у которого просто не было дна. Прошло время, когда она могла, бросив все, умчаться с работы и гнать всю дорогу такси до дома, чтобы влететь в гараж и трясущимися руками открывать машину. И все только потому, что вдруг вспомнила, что в тот день он должен был забрать фотографии, и сама мысль, что он их мог забыть в машине, потому что часто забывал в бардачке какие-то вещи, срывала ее с места и гнала через весь город. И была сумасшедшая мысль, что вот она откроет машину, а там целая пачка фотографий, на которых – их общая жизнь, которая уже закончилась, или может быть, там, на заднем сиденье, остался Аленкин заяц, которого она часто брала с собой. Но ничего не было в этой холодной, какой-то промерзшей машине.

И она продала ее. Продала, потому что не хотела, чтобы она была. Потому что не купи они ее, они купили бы квартиру и были бы все живы.

И мама обрадовалась сначала тому, что она продала машину. К этому времени прошли какие-то скрытые от нее дела и иски, и ей дали квартиру, и мама, наивная мама, решила, что вот сейчас ее дочь оживет и, выручив деньги от продажи, увлечется витьем нового гнезда. Мама знала, что Лена всегда любила все оформлять, обживать, создавать уют. И она уже предлагала ей:

– Давай съездим в мебельный...

Или намекала:

– Я рекламу видела – новый магазин открыли, там такие потрясающие шторы, такой необыкновенный выбор...

Но Лена уже тогда приняла решение. Она приняла его давно, еще в больнице. И, продавая машину, знала, на что уйдут эти деньги. На то, чтобы уехать куда-нибудь далеко, чтобы побыть одной. Пожить одной. Чтобы ее все оставили в покое.

И сейчас она была в покое. Эта утренняя боль, которая прорвалась так неожиданно, ушла. Она просто еще больше закрылась, хотя – куда больше? И обедать она пошла в тот самый ресторан. И ужинать. И несколько раз она, уже спокойная и отстраненная, смотрела на официанта. Просто смотрела, как смотрят на часть картины, рассматривая эту часть.

... Она рассматривала его с отстраненным видом, просто как образец, как типаж, а типаж действительно был ярким. То, что он был когда-то стриптизером, она угадала точно. В этом у нее не было сомнения.

Когда-то он был красавчиком – гибким, высоким мальчиком с сильным и волнующим телом. Они, эти мальчики из стриптиза, действительно могли ощущать свои тела, как инструмент, сильный, и волнующий, и подавляющий, потому что рядом с таким потрясающим мужским телом, символизирующим настоящую мужественность, любая женщина начинала чувствовать себя слабой и уязвимой. А им, этим волкам, только этого и нужно было. Чтобы увлечь и раскрутить на деньги.

Потому что все их выступления и эффектные номера были только прелюдией, началом их работы. Основные деньги они получали из зала, от возбужденных женщин, которых они уже завели, в которых уже играла кровь, и возбуждение требовало выхода. И от того, сколько раз мальчик станцует приватный танец или останется наедине, чтобы «сделать даме массаж», – от этого зависели их деньги. А деньги они любили. Это было основной чертой их профессии.

Он был таким же, она была в этом уверена. Просто стал старше. Налился мужской силой. И уже не мог конкурировать с мальчиками. Но – сколько волка ни корми... Ничего нельзя было поделаться с его взглядом, профессиональным и цепким. И улыбка – потрясающая, роскошная улыбка, которой он одаривал женщину, попадающую в поле его зрения, – была все той же улыбкой порочного, соблазняющего, уверенного в своей силе и власти мужчины.

Лена с каким-то внутренним удовлетворением несколько раз в течение дня удостоверилась в своих выводах, когда он, завидя нескольких туристок, идущих к ресторану, как-то позвериному подтягивался, как на охоту собирался. И взгляд его становился смело-наглым, и белозубая улыбка – опасной, и, на ходу угадывая, подбирая язык, на котором с ними нужно говорить, он говорил этим женщинам как-то приглушенно и томно:

– Добрый день. Как дела? Я вас ждал...

Два года назад она опять вплотную столкнулась с ними, когда редактор журнала, в котором она тогда работала, обратилась к ней все с тем же предложением:

– У тебя говорят, был опыт общения со стриптизерами... Давай дадим разворот о наших стриптизерах, современные дамочки любят такие материалы...

И она снова окунулась в этот, уже знакомый ей, мир, разница только в том и была, что никуда ехать не нужно было – своих стрипбаров и стрипклубов появилось достаточно, свое, российское поколение стриптизеров выросло.

И как поразило ее тогда, после нескольких таких посещений известных и неизвестных клубов, что все они, эти стриптизеры, одинаковые.

Она просто поразились, насколько интернациональны были их замашки: походка, взгляд и тембр голоса. Вот уж точно – у них были свои профессиональные качества, свое профессиональное поведение. И в их приемах раскручивания, выдаивания у женщины чаевых или крупных сумм разницы не было, делали они все это одинаково. И – им в этом нельзя было отказать – красиво, чувственно, артистично.

Были в этих мужчинах шик и наглость, и та власть, которая так нужна женщинам, о которой мечтает каждая женщина, и они просто пользовались этим, пользовались умело, хитро, благо инструмент для этого – их собственное тело – помогал им делать это легко.

И даже повидав этого достаточно, она поражалась, как работает эта мужская наглость, мужская сила, мужская энергия. Как действует она на женщин, какими бы крутыми, современными или эмансипированными они ни были.

Как только появлялись на танцполе несколько таких вот крепких, красивых мускулистых мужчин, как только начинали они свой танец или номер, как каждая женщина в зале забывала, и кто она, и что она, потому что просто становилась женщиной. Потому что столько в движениях этих мужчин было откровенной мужской силы, а иногда даже неприкрытой агрессивности, что мужское начало, присутствующее в каждой женщине, подавлялось этим мощным групповым началом столько самцов. И женщина становилась женщиной – мягкой, слабой. И вот уже у женщин становился другой взгляд, и дыхание менялось, и поза.

И когда эти мужчины, эти красивые самцы, уходили с танцпола в зал, и расходились между столиками, каждый – своей немного ленивой, опасной, как у зверя, походкой, и, подходя, смотрели своей жертве прямо в глаза, и взгляд этот был глубокий и настойчивый, и они приближались, и эти обычные слова, сказанные какой-то волнующей интонацией, низким тембром: «Добрый вечер...» – звучали как приговор бедной жертве. Потому что глаз нельзя было отвести. Потому что хотелось подпустить его ближе, хотелось притянуть его и почувствовать – какой он весь...

Конечно, это был профессионализм. Так работали не все, так работали профессионалы. Было среди стриптизеров и много просто красивых мальчиков, которые еще не ощутили своей силы, не наполнились чувством своей значимости и власти. Но он, этот официант, явно когда-то был профессионалом, она это как-то сразу почувствовала, а мастерство, как говорится, не пропьешь.

И кем бы он теперь ни работал, в нем остались та же грация, и та же уверенность, и та же наглость и властность. И все это он про себя знал. Только Лене наплевать было на него и на весь его профессионализм. Все это было не для нее, не про нее. И все это не действовало на нее, потому что на мертвых никакие взгляды, никакие обольстительные улыбки не действуют. И она просто рассматривала его, как образец. Она так же рассматривала бы какую-нибудь бабочку, наколотую на иголку.

И однажды, сидя на своей террасе, она подумала, что именно потому, что на нее ничего не действовало, что она вообще не замечала его сначала, а потом – заметила и просто равнодушно рассматривала, все и случилось потом так, как случилось.

Она не обращала на него никакого внимания – именно поэтому он начал охоту на нее. Это было так понятно ей потом, когда она уже была с ним в этой схватке, в этой борьбе.

Она знала эту породу мужчин, которые привыкли к успеху у женщин, к восхищению, к страсти, которую они вызывали в женщинах, и не заметить такого мужчину, быть равнодушной к нему – было для него равносильно оскорблению.

Она задела его, точно, задела сильно, совсем не желая того, но – мертвые не замечают, когда они кого-то задевают. На то они и мертвые...

И началась охота, началась схватка мертвой женщины и живого, сильного и умного мужчины.

И она – проиграла в этой схватке.

Она почувствовала опасность в тот же самый вечер, когда совершала свою обычную прогулку по городу. Да нет, не опасность почувствовала она, а, скорее, раздражение, что что-то новое появилось, что-то непредвиденное произошло во время ее обычной неспешной прогулки. Как помеха, как соринка в глазу. Она и отнеслась к этому как к мелкой соринке – и это была ее ошибка. Его охота еще не началась, но это был первый сигнал, как звук трубы перед боем, и она тогда не поняла этого. Но – поняла очень скоро.

Она шла узкой улочкой, шла своим обычным маршрутом, погруженная в себя. Она сейчас даже не смотрела, что ее окружает, когда она идет. Год назад они с Алешкой замирали от восторга на таких узких улочках, задирали головы и рассматривали старые узкие ставни на домах, и было так странно, что эти высокие дома стоят так близко, что можно протянуть руки соседям, и руки эти встретятся.

Сейчас Лена просто шла по такой узкой улочке, мощенной белым камнем, который от времени и ног, ходивших по нему несколько веков, стал блестящим, как лакированным. Она просто шла, погруженная в свои мысли, куда-то в себя, как почувствовала эту помеху. Мужчина в белой рубашке и черных брюках шел ей навстречу, и в этом не было на самом деле ничего удивительного, хотя редко ей кто-то встречался на этом маршруте.

Туристов, которые проживали в городке постоянно, были единицы. Группы же приезжали, осматривали основные достопримечательности, потом заходили в лавки сувениров, приходили к дому, в котором она сейчас жила, чтобы увидеть потрясающий бесконечный вид с му-террасу, выходящую на край земли, – и уезжали.

Какое-то беспокойство она почувствовала, наверное, потому, что уже узнала его где-то там, внутри, еще не узнавая его. Это был он, официант, который обслуживал ее, бывший стрип-тизер, которого она сегодня так равнодушно рассматривала.

Ничего особенного не было в том, что он шел навстречу, хотя нет, было особенное. Он должен был быть на работе – в своем ресторане. Время сиесты, когда весь город прекра-щал работу и замирал, кончилось. Но – он все-таки шел ей навстречу по этой узкой улице. И она немного посторонилась, чтобы дать ему дорогу, когда они поравняются. И они подошли уже на расстояние нескольких шагов друг к другу, когда он неожиданно для нее, неожиданно настолько, что она даже голову вскинула удивленно, просто затормозил, раскинул руки, оперев их в стены домов, и преградил ей движение.

И, встретившись с ее удивленным взглядом, улыбнулся ей все той же какой-то порочной, дьявольски красивой улыбкой, каким-то замедленным красивым, как бы заученным движе-нием головы отбросил непослушную прядку волос, выбивавшуюся из стянутых в хвост волос, и сказал этой знакомой ей интонацией соблазняющего мужчины:

– Сеньора гуляет одна?..

И так ей все это было знакомо и понятно, весь этот его лоск и взгляд, и так ей все это было не нужно, что она, даже не дрогнув лицом, не посчитав нужным хоть кивком головы ему что-то ответить, просто поднырнула под его руку и пошла дальше, как будто его и не было вовсе.

И не оглянулась, и не ускорила шаг – и плевать ей было на то, что он подумал, и что было в его взгляде, когда он смотрел ей вслед. А то, что он смотрел, она была уверена. Мальчик получил оплеуху, подумала она. Ну, так ему и надо. Надо знать, на кого свои стриптизерские замашки распространять. И она опять забыла о нем, потому что о соринке, которую вынимают из глаза, тут же забывают. На то она и соринка. Но как часто то, что кажется просто соринкой, оказывается бревном...

Несколько дней спустя она пришла на небольшую площадь в центре городка, на кото-рой должен был состояться праздник. Ее хозяйка еще два дня назад рассказывала ей об этом празднике: как все соберутся на главную площадь, и гости приедут, и будут танцы, и детский ансамбль приедет, он каждый год приезжает на этот праздник...

Лена почти не слушала ее, потому что никакой праздник ей был не нужен, но все-таки пошла, очень уж звали ее хозяйева, уходя туда вечером. Они вообще очень хорошо к ней отнес-лись, хоть долго не могли решиться на то, чтобы поселить у себя какую-то женщину из России, да еще поселить не на день-другой – на несколько месяцев.

Сначала они старались как-то присмотреться к ней, познакомиться поближе, но она быстро и как-то прочно установила барьеры между собой и всем остальным миром. И они оста-

вили свои попытки. Наверное, все-таки они успокоились по ее поводу: ну приехала женщина, сидит подолгу на террасе, о чем-то думает. С виду – очень милая, только какая-то строгая, что ли. Но аккуратная, и готовить дома отказалась, даже отказалась варить себе кофе, никакого хозяйства не ведет, просто ходит по городу или сидит на террасе – и не слышно ее и не видно.

И они как-то приняли ее такой, какая она есть. Но на праздник звали настойчиво, они сами ждали его, не уезжали в свой ежегодный отпуск к детям, которые жили в столице. И тут Ленино присутствие даже пошло им на пользу. Они оставляли дом на нее, и им самим так было спокойнее. Хотя – чего тут можно было бояться, в этом маленьком городке, где все друг друга знали, и не было ни воров, ни преступников, здесь даже дома и лавки не запирались, и сколько раз Лена удивлялась этому, зайдя в какой-нибудь магазин и не обнаружив в нем продавца.

Здесь действительно все знали друг друга, туристические группы приезжали в одно и то же время и уезжали, и Лена, как чужой человек в этом городе, была исключением. Но ее уже считали почти своей, знали, что приехала она надолго, и к поведению ее – закрытому и отстраненному – уже привыкли.

Он подошел к ней, когда она стояла на маленькой главной площади перед ратушей, где собирались люди на праздник. Она не стала смешиваться с толпой, стояла чуть вдалеке, наблюдая за всем, что происходит. Он подошел как-то неслышно, как зверь подкрадывается к своей добыче. Просто вдруг оказался рядом, и, наверное, даже простоял рядом с ней какое-то время, потому что она не сразу заметила его, с интересом рассматривая процессию выноса статуи какой-то святой. Только когда его твердая мускулистая рука коснулась ее плеча, она посмотрела на эту обнаженную мужскую руку, отстранилась от нее, как-то вяло подумав про себя: «Красиво, черт возьми – красиво, когда у мужика такие руки», – и только потом поняла, что это опять он.

Он был в майке без рукавов, и майка эта, с глубоким вырезом, обнажавшим его крепкую грудь, как-то преобразила его, сделала еще красивее, что ли. И волосы его были распущены, и их густота и необычная длина делали его еще более ярким, сексуальным. Он был тут другим – более свободным, что ли, более мужчиной. И вся красота его стала более явной и оттого более неприятной ей.

И он отошел от нее, когда она, покосившись на него неприязненно, отодвинулась. Но отошел как-то наигранно, какой-то чересчур демонстративно красивой походкой. «Как на сцене», – подумала она о нем и отвернулась.

Но все равно успела увидеть в этой походке его настоящую мужскую красоту, потому что бедра его были узки. И зад, поджарый и крепкий, был мал настолько, что он мог позволить себе надеть свободные, почти не обтягивающие его джинсы. И она была уверена: под ними нет белья. В этом был какой-то особый стриптизерский шик – быть обнаженным под одеждой. И в этом была одна из их уловок, которая интриговала женщину: расстегивать перед ней молнию долго, осторожно, и в какой-то момент вдруг открыть ее всю, показывая всю свою обнаженность и не показывая при этом ничего откровенного.

И она опять чертыхнулась про себя: «Навязался черт на мою голову, нашел перед кем своим тощим задом вилять!..»

И она выкинула его из своей головы, и просто стала наблюдать за происходящим – за каким-то ритуалом в честь святой, которой и был посвящен этот праздник. Она слушала пение какого-то народного хора, сплошь состоящего из старичков и старушек, смотрела на выступление детей, которое ее не тронуло, не вызвало в ней никакого умиления. Была она закрыта от таких эмоций. Просто смотрела – и все.

А потом зазвучала музыка, и начались танцы. И танцы эти были народными, и Лене они нравились. Она и в прошлый их приезд в эту страну не раз с удовольствием наблюдала, как оживляются под эту мелодию люди.

Мелодия была какая-то интернациональная, смесь польки и вальса, она одинаково нравилась и немцам, и итальянцам, и венграм. Она нравилась всем, потому что каждый узнавал в ней нотки своей национальной мелодии. И танцевали этот танец просто: пара как бы танцевала веселую польку, поворачиваясь в круге таких же танцующих. И был задор в этом танце, и был он долгим, потому что танцевали его с удовольствием.

Он подошел к ней неожиданно – просто вынырнул откуда-то из толпы. И его «Сеньора танцует?» было так неожиданно, что она даже ответить ему не успела, как он взял ее в объятия и повел в круг танцующих.

И это ощущение сильных рук на своей талии, и ощущение этого крепкого и тесного объятия было тоже так знакомо, что она, невольно делая нужные движения, разворачиваясь с ним в круге, вспомнила, откуда они: так танцевал с ней Марио. И она опять поразились, как точно она угадала в этом официанте тот самый тип мачо, уверенного в себе красавца, и как-то внутренне возмутилась: «Да за что мне это?! Какого черта ему от меня надо? Только его мне сейчас и не хватает! Да пошел он к чертовой матери! Знает она этих красавцев, знает им цену...»

И она остановилась, просто встала, как вкопанная, и ему тоже пришлось остановиться. Но он, не разжимая объятий, а еще теснее прижимая ее к себе, наклонил к ней голову, чтобы увидеть ее глаза, и спросил как-то заботливо и в то же время игриво, как бы стирая дистанцию между ними:

– У сеньоры закружилась голова?..

И интонация его, и тембр голоса – низкий и интимный – разозлили ее вконец, потому что знала она все эти штучки, и это было нужно ей сейчас меньше всего – чтобы кто-то к ней клеился, чтобы кто-то вторгался в ее жизнь. Не для того она сюда приехала, чтобы какой-то развязный козел разрушал всю ее устоявшуюся жизнь мертвой женщины.

И она ничего не ответила ему. Просто с силой разжала его руки, как бы скинув их с себя, и, не глядя на него, пошла от него прочь.

Она вышла из круга танцующих и остановилась. Потому что почувствовала вдруг какую-то тревогу. Как будто что-то с ней сейчас произошло, что грозило ей опасностью, какой – она и сама еще не понимала. И тут же поняла.

Уже давно она не испытывала никаких чувств, и она хотела этого. Но раздражение, даже негодование, которые она сейчас переживала, все же были чувствами. И она испугалась вдруг того, что оживает. А она не хотела оживать. Она хотела жить бесчувственной. Потому что бесчувственные люди ощущают себя иногда гораздо спокойнее, а значит – лучше чувствующих.

А она не хотела оживать. Поэтому тут же сама себя закрыла, как бы убрала все свои чувства. И осталась стоять в стороне от танцующих. И просто наблюдала за всем, как наблюдает за природой какой-нибудь натуралист. И мысли ее стали опять привычно холодными, так, как это было уже на протяжении долгого периода времени.

Она просто стояла и смотрела. И отстраненно наблюдала за весельем, за лицами людей. И подумала, что тут ей тоже нет места. Нет ей места в этой картине веселящихся и празднующих людей. И подумала: надо уходить. И еще подумала о том, как хорошо, что этот праздник сегодня закончится, и завтра начнется обычная жизнь, в обычном стабильном режиме.

Проснуться. Умыться. Причесаться. Одеться. Выпить кофе в ресторане...

И она вспомнила о нем, о том, что завтра опять встретит его, и подумала: может, просто выбрать другой ресторан и не напрягаться?

И тут же убрала эту мысль. Не хватало еще, чтобы она из-за какого-то вшивого бывшего стриптизера меняла заведенный ею распорядок жизни!

Никогда, подумала она зло, и тут же увидела его.

Он танцевал с какой-то молодой женщиной, явной иностранкой. И то, как он танцевал, как вел ее в танце, с каким лицом смотрел на нее, и то, как она танцевала с ним, отдавшись ему и глядя в его глаза, опять напомнило Лене Марио и их танец.

Марио был одним из лучших стриптизеров, с которыми она познакомилась во время той поездки в Италию. Он был профессионалом в самом высоком смысле этого слова. И она провела много времени, наблюдая за ним, говоря с ним, потому что он был один из лучших.

А знакомство ее началось с ним именно с танца, и был этот танец для нее таким же неожиданным. Просто начала звучать музыка, погас свет в зале, и потом в круге света возник настоящий красавец-мачо, и одет он был в какой-то немыслимой красоты костюм, похожий на костюм тореадора, и он просто пошел в зал, и она еще не знала тогда, что этот выход в зал всегда заканчивается выбором партнерши из зала, с которой стриптизер потом и будет что-то делать. И как часто потом, проводя время в таких стрипклубах, она видела этих женщин, попавшихся на удочку красивым и обаятельным мужчинам, когда они невольно начинали принимать участие в их номере, и иногда не мужчина раздевался, а раздевал женщину на глазах у всего зала...

Он подошел к ней, протянул ей руку, и она, не понимая, что нужно делать, тоже протянула ему руку. И он, даже не спрашивая ее разрешения, повел ее на танцпол, в освещение софитов. И она, уже поняв, что с ней что-то хотят делать, что она становится участницей какого-то номера, запротестовала, остановилась, но он как будто бы даже и не заметил этого, просто обнял ее за талию, прижал к себе и повел в танце.

И музыка эта была необычна, это было что-то знойное, похожее на танго, чего она никогда не танцевала и даже не представляла, как это можно танцевать. Но он, остановившись с нею на мгновение, не выпуская ее из объятий, а прижимая к себе так сильно, что она своим телом чувствовала все рубчики и выпуклости его расшитого костюма, все его сильное и напряженное тело, сказал ей с какой-то сильной, но одновременно вкрадчивой интонацией:

– Смотри мне в глаза!

Сказал – как приказ отдал. И добавил:

– И просто слушайся меня...

И она, глядя на него, как кролик смотрит на удава, как-то в один момент забыла обо всех своих страхах. И просто смотрела ему в глаза, а он смотрел в ее глаза. И был этот взгляд властным и сильным, и она не могла оторвать от него глаз, и просто доверила ему свое тело.

И он танцевал им, танцевал ее телом, просто разворачивая его, делая неожиданные остановки. И тело ее слушалось его. И несколько раз он как-то томно и страстно говорил:

– Сейчас я наклоню тебя вниз...

И она даже не успевала понять, как это, как он резким движением отбрасывал ее себе на руку, и она откидывалась всем телом назад, почти касаясь волосами пола. И был этот танец красив, она чувствовала это, даже не видя его со стороны...

Таким был Марио. Так он обращался с женщинами. И она на себе испытала тогда весь его магнетизм и властность, и почувствовала, что действительно можно увлечься таким мужчиной. Потому что таким было трудно не увлечься...

И она даже испугалась тогда, что потеряет голову от какого-нибудь красавца, влюбится в какого-нибудь представителя этой страстной профессии. Потеряет над собой власть. Наделает глупостей. Станет, так сказать, жертвой редакционного задания.

Ничего этого не произошло. Но Марио она запомнила хорошо. И запомнила разговоры с ним.

– Женщину нужно брать сильно, – говорил он. – И неважно, берешь ли ты ее в сексе или в танце – ее надо брать сильно, чтобы она понимала, кто хозяин. И неважно – нравится ей это или не нравится. Она должна почувствовать власть. И эта власть над ней – первый шаг к успеху у нее.

Так говорил тогда Марио. И так, наверное, думал и ощущал этот самец, ее официант. Судя по всему его виду, по его манерам, по той харизме сильного самца, которая так ярко играла в нем, он был таким же. И он был так же опасен.

И этот день она вспоминала потом, как день начала охоты на нее.

Вечером следующего дня, придя домой и усевшись в кресло на террасе, она вдруг почувствовала сильное желание сделать то, чего она не делала очень давно. Ей захотелось взять бумагу и ручку и записать свои мысли, пришедшие во время ужина.

Она ужинала все в том же ресторане. Опять все те же руки появились перед ней. И опять ее удивило это кольцо, надетое на мизинец. Странное сочетание бирюзы и золота, сочетание массивности и тонкости от самих камней, от какой-то простенькой мозаики, которую составляли эти камни, как бы вплавленные в золото. Что-то несовременное было в этом кольце, и странно оно смотрелось на руке сильного и здорового мужчины...

И когда он отошел от ее столика и стал у стены все в той же ленивой позе превосходного самца, который знает, что он превосходен, – она опять узнала, увидела в нем так знакомый ей тип мужчины. И опять вспомнила о Марио.

Много лет назад она брала у него интервью, и выложила она тогда за этот разговор с ним целую кучу денег:

Марио, как и все его собратья по профессии, очень любил деньги и никогда не упускал возможности заработать побольше.

Но он стоил таких денег. Потому что был ярким представителем этой редкой профессии. Действительно ярким.

И, глядя на его успех, на реакцию женщин от него, которые заводились, что называется, с пол-оборота, Лена рассматривала его и анализировала как прекрасный образец настоящего профессионального стриптизера, находя в нем те черты, которые и позволяли стриптизеру не просто выступать с какими-то номерами на публике, а быть любимцем женщин, иметь над ними власть, и как следствие – иметь большие деньги.

Он был очень высоким мужчиной. И уже это был его большой плюс. Он был выше женщины, и в этом был какой-то сильный скрытый смысл, потому что каждая женщина где-то там, в глубине души, хочет, чтобы рядом был мужчина, который был бы выше ее. Как бы странно это ни звучало, думала тогда Лена, но каждой женщине, даже самой эмансипированной, иногда очень хочется почувствовать себя маленькой и слабой, но для этого нужен рядом более сильный и властный мужчина – а как мало таких мужчин окружают женщину...

Марио был не только высоким, он был очень хорошо и соразмерно сложен соответственно своему росту. Насмотревшись обнаженных мужских тел, Лена как-то быстро научилась видеть лучшие, отмечая красоту множества красивых мужчин, в которых были почти незаметные несоответствия: немного уже, чем нужно было бы для полной гармонии, плечи, или чуть-чуть лишний вес, который создавал ощущение излишней тяжести, или, наоборот, несоответствие фактурного, играющего мускулами тела и худобы.

Марио был совершенен. Он был из тех редких мужчин, которыми можно было только восхищаться, не говоря:

– Ой, ну какой красавец, только бы руки чуть короче или – бедра бы чуть уже...

В нем все было – так. И он это прекрасно знал.

И это был еще один его плюс. Он был абсолютно, стопроцентно, незыблемо уверен в своей совершенной красоте, в своей неотразимости. И он был абсолютно уверен, что перед ним не устоит ни одна женщина. Это и создавало ему ауру такого уверенного в себе самца.

В нем была такая власть над женщинами, такое чувство превосходства, которое и делала его отличным, выделяющимся от многих стриптизеров, которые в разговоре с женщинами были очень мягки, обходительны, вкрадчиво осторожны. В нем не было ничего этого. В нем жила наглость. Сильная и властная наглость мужчины, который знает, чего он хочет, и который даже не интересуется, хочет ли этого женщина.

– Я никогда не прошу, – говорил он Лене во время их разговора. – Я отдаю приказы...

– Но как ты можешь приказывать женщине, которой ты оказываешь услуги, женщине богатой, с положением? – спрашивала его Лена. Именно о такой женщине, одной из своих пассий, он ей рассказывал. – Она может возмутиться, оскорбиться, обидеться...

– Ну и черт с ней! – весело отвечал он Лене. – Она знает – я этого не скрываю, – что не держусь за нее. Что у меня таких, как она, может быть тысяча... И, если мне что-то не понравится, я просто уйду... Женщина должна чувствовать, что ее не ценят, именно это и заставляет ее становиться послушной...

Он говорил тогда вещи, которые звучали для Лены цинично и страшно.

– Я просто говорю ей: я видел новые часы, и они мне очень понравились... И спрашиваю, когда они у меня появятся... Я не оставляю ей выбора. Она понимает, что если она мне их не купит, их мне купит другая. Но я даю ей возможность решить: купить ли их мне. Я даю женщине небольшую иллюзию свободы выбора, небольшую иллюзию власти надо мной: потому что, когда она мне что-то дарит или дает мне деньги, она чувствует в этот момент власть надо мной. Чувствует, что я от нее завишу. Но все это – обман. Это как конфетка ребенку, чтобы он успокоился... И, подумав, добавил:

– Ты спрашиваешь о том, какие у меня есть профессиональные секреты, так я тебе скажу: женщину нужно не любить, не уважать, тогда она готова на все ради тебя...

Лена очень хорошо помнила тот их разговор, записанный на диктофон. Помнила именно потому, что он ее потряс своей откровенностью, какой-то холодной циничностью и в то же время правдивостью. Потому что давно известно: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей»...

И сейчас, вспомнив этот их разговор, Лена подумала: конечно же, в этом есть какая-то страшная правда. И – неправда. Потому что Алешка ее любил. И она его любила. И любила его не потому, что он ее не любил. Потому что – просто любила, и все...

И она опять отодвинула это воспоминание, как страницу перевернула. И опять посмотрела на официанта, который что-то тихо говорил невзрачной молодой женщине. Он разговаривал с клиенткой, покидающей ресторан, и что-то вкрадчивое было и в его позе, и в его голосе. И Лена разобрала только:

– Вы здесь надолго?... Как вам нравится наш город?.. И Лена даже задохнулась от возмущения: вот ведь, козлина, клеится ко всем без разбора! Но она тут же остыла, потому что дела ей до него не было никакого. Так, просто персонаж картины. Просто знакомый и понятный тип мужчины.

– Ну, ладно, то, что он бывший стриптизер – понятно, – уже спокойно и холодно подумала она, – а вот мачо он или жиголо?..

И она тут же отбросила вариант, что он мачо. Потому что мачо в ее представлении был Марио. И мачо – это всегда сильный и властный мужчина. И он не суетится перед женщиной, не завоевывает ее, не обольщает. Он – король. И знает это. И женщины сами падают в его объятия.

А вот жиголо, который зарабатывает деньги обслуживанием женщин, – действительно прислуживает, угождает, обольщает, обманывает, заискивает перед женщиной. И она подумала, поглядев на него еще раз:

– Ну нет, он – не мачо... Может быть, когда-то он и был мачо, но, видать, поистрепался, снизил, так сказать, категорию. Он – обычный провинциальный жиголо. Охотящийся за богатыми туристками. Обольщающий своей улыбкой, которую он так щедро раздает каждой подходящей под эту категорию женщине.

И она посмотрела на него, и он улыбался в тот момент поднимающейся из-за столика женщине. И улыбка у него действительно была хороша: сначала как-то иронично поднималась одна бровь, потом как бы расцветало, раскрывалось все его лицо, когда его крупные, красивые

губы раскрывали ровные и белоснежные на смуглом лице зубы. И она как-то невольно отметила про себя красоту этой улыбки.

И опять чертыхнулась, но не отвела от него взгляда. Даже не старалась скрыть, что смотрит на него. Она опять рассматривала его, как рассматривает юный натуралист пойманного жука – чтобы классифицировать его, определить его вид и рассмотреть его отличительные особенности.

И мысли ее приобрели другой поворот. Она смотрела на него и думала: какими судьбами он оказался в этом маленьком городе? Почему не зарабатывает деньги на каком-нибудь курорте, благо в этой стране их было достаточно?

И как-то незаметно для себя она начала придумывать его легенду, как раньше, когда писала: какую-то сюжетную линию, в которую все вписывалось.

И получилось у нее, что он, этот бывший мачо, этот сегодняшний жиголо, сверкал когда-то, соблазняя женщин своим роскошным телом, в роскошном стрипклубе... Но годы шли, молодые красивые конкуренты подпирали, надо было думать о будущем. А потом умерла его мама или тетка, всю жизнь прожившая в этом маленьком городке, имевшая в нем симпатичный двух-, а может, и трехэтажный домик, в котором сдавала внаем два этажа, обеспечивая себе содержание...

И вот он стал наследником. И он, который привык к яркому свету софитов, к щедрым чаевым женщин, оказался в этом городке, и, думала она, в какой-то из дней, пока шли все эти церемонии и процедуры чтения завещания, он вдруг понял, что здесь можно жить. А почему не жить? Тихое и спокойное место, богатенькие туристки, иногда останавливающиеся в местном маленьком отеле. Группы туристов, которые постоянно посещали этот городок и в которых большинство были женщины, – это была его стихия: белозубо и откровенно улыбаться, ощущая собственную красоту, используя собственную мужественность как манок для денег...

Ей понравилась такая легенда, и захотелось даже проследить однажды за ним, увидеть дом, в котором он сейчас живет. Хотелось как-то подтвердить свою легенду. И она улыбнулась самой себе – а может все это и не так, может, у него дома жена с четырьмя детьми.

И опять улыбнулась: не бывает у таких красавцев никаких жен с детьми, не попадают они в такую ловушку – не для того у них такие тела, такие зубы, такие взгляды. И вспомнилась ей наивная Красная шапочка:

– Бабушка, а почему у тебя такие большие зубки...

«Тебе меня не съест, Серый Волк», – подумала она, подумала как-то горячо и сама испугалась этой горячности, этим чувствам. Тому, что она – чувствовала. И она – писала! Именно это она и делала только что – разрабатывала легенду, придумывала сюжетный ход.

Она потрясенно посмотрела на официанта, и он, уж не зная, как понять этот взгляд, ответил ей своей ослепительной улыбкой, и она в очередной раз удивилась, как меняет улыбка лицо мужчины, и как она красива на этом смуглом лице с густыми черными бровями...

И она подумала вдруг, что на самом деле ничего не знает о нем. А, может, его сердце разбито кем-то, может, он тоже пережил какую-то трагедию и захотел спрятаться так же, как она, и приехал в этот маленький город, чтобы уйти от той боли, которая в нем жила. Может, у него разбито сердце. Может, это кольцо – память о той любви. О другой жизни. Может, они похожи? И поправила на себе серебряный браслет...

И отмахнулась от этой версии, потому что слишком хороша была его улыбка для мужчины с разбитым сердцем, и слишком сытым, что ли, довольным собой он выглядел. Как красивое сытое сильное животное, которому даже охотиться не обязательно, но оно делает это так, ради развлечения.

И она опять отмахнулась от этих мыслей, но, придя домой, достала из шкафа свой чемодан, в боковом кармане которого лежала пачка хорошей белой бумаги, которую она даже не

стала доставать, когда распаковывала свои вещи. Эту пачку бумаги купила ей мама, и когда Лена уже сложила все вещи, мама как-то услужливо и тревожно сказала:

– А бумагу ты положила, Леночка? Тебе же писать там будет не на чем...

И Лена послушно взяла из ее рук эту новенькую тугую пачку и засунула ее аккуратно в боковой карман, и этой своей аккуратностью она как бы показала маме, что дорожит этой бумагой, к которой она даже прикоснуться не планировала.

И вот впервые за две недели ей вдруг захотелось достать эту бумагу и записать все те мысли об этом неприятном ей и напрягавшем ее мужчине, и свои воспоминания о Марио и тех мужчинах, повадки которых она наблюдала.

И она начала писать – поспешно, перескакивая с одного на другое, и показалось ей в какой-то момент, что она разучилась писать. Но она сама себя успокоила: мол, она и не пишет вовсе, так, просто хочется ей какие-то зарисовки сделать. Может, они вообще ей не пригодятся. Но раз хочется – надо делать.

И она писала долго. И было ей как-то по-новому спокойно. И она легла спать спокойной. И еще не знала, что ждет ее завтра.

Она проснулась рано утром, когда солнце еще не освещало террасу. Она уже привыкла, живя здесь, определять время по тому, насколько ее терраса залита солнечным светом.

Было раннее утро, она это поняла и удивилась тому, что проснулась так рано. Обычно она допоздна сидела на террасе, когда вся картина гор и долин становилась черной. Но она еще сидела, закутанная в мягкий плед, потому что ночной воздух с горных долин был свеж и прохладен. Она поздно ложилась спать и поздно просыпалась. Но все было не так вчера вечером.

Она вспомнила о вчерашнем вечере, и это воспоминание как-то мгновенно разбудило ее, сделав ее сознание ясным и трезвым. Потому что вчера был какой-то особенный вечер. Она – писала.

Она писала вчера, усевшись на террасе, забравшись с ногами в плетеное кресло. Иногда она останавливалась и просто смотрела туда, в долины, куда садилось солнце, позволяя своим мыслям и воспоминаниям течь свободно.

Потом она продолжала писать, уйдя в дом, потому что уже спустились сумерки. И потом, когда темнота обступила ее дом, она все еще писала какие-то обрывки воспоминаний, свои ощущения. Это были просто наброски, но что-то волнующее ощущала она сегодня, когда вспомнила о них.

Она уже знала это ощущение внутреннего волнения, как будто что-то складывается внутри тебя, что-то новое, чего ты еще не знаешь. Именно так она чувствовала раньше, когда еще чувствовала и писала статьи или рассказы. Ее завораживала тогда эта непонятная для нее внутренняя работа, происходившая в ней, когда из сумятицы фраз, слов, мыслей, каких-то картинок вдруг проступало что-то красивое и законченное.

Как в рисунках Алешки, когда из хаоса линий и штриховок вдруг проступало лицо и становилось все понятнее и знакомее. Так он рисовал когда-то портрет Аленки, и Лене нравилось наблюдать, как из каких-то схематичных линий и теней появлялось лицо ее ребенка. И этот портрет, приколотый к обоям над ее кроватью, тоже исчез – даже следа от него не осталось. Как будто и не было его никогда. Только черная поверхность обгоревшей стены...

Она резко поднялась с постели, как бы останавливая и прекращая эти воспоминания, и – не умываясь, не причесываясь, не одеваясь, оставаясь обнаженной, потому что всегда любила спать обнаженной, и так и не научилась спать в ночных рубашках, в которых во сне просто запутывалась как в сетях невода, – взяла в руки исписанные вчера листки бумаги и уселась на пол, подстелив под себя плед. Она нарушала весь свой привычный режим, но даже не замечала этого, сидя на полу и бегло пробегая глазами по строчкам все, что вчера написала.

И – опять испытала все то же волнение. Что-то уже было тут, в этих листках. Тут уже был один герой – и был он выписан ярко и четко, как живой и реально существующий. И подумала она, что в этой череде зарисовок точно есть реально существующий человек – он, тот самый знакомый ей как тип мужчины и знакомый ей как официант.

И она подумала с каким-то волнением, что уже есть главный герой или, может, второстепенный, но яркий и отрицательный герой. В том, что это был отрицательный герой, вообще не было сомнений. И в том, что материала для его образа было достаточно, тоже не было сомнений. Нужно только привести все эти зарисовки и воспоминания в одно целое. И она почему-то так заволновалась от всего этого, что даже не успела испугаться, что чувствует волнение, а значит – начинает чувствовать и оживать...

И эта мысль, что герой уже есть, но его мало, нужна героиня, или, может быть, несколько героинь, или какие-то еще персонажи, как-то взбудоражила ее, и захотелось выпить кофе. И – закурить. Потому что именно это делала она в той, прошлой ее жизни, когда вот так, возбужденно и торопливо, обдумывала что-то, когда какое-то решение было уже где-то почти рядом, но еще никак не проявлялось, оставаясь размытым и оттого – таким волнующим.

И это был сильный аромат той ее жизни, манящее и вкусное воспоминание той жизни, потому что она действительно любила пить кофе и курить при этом сигарету, и этот глоток ароматного кофе и аромат ее любимых легких женских сигарет были для нее вкусными, как вкусным для кого-то является вкус апельсина или запах шашлыка. И она как-то вяло напонила себе, что она бросила курить.

Выпить кофе захотелось действительно сильно. И ресторан еще не открылся. И она подумала, что сейчас меньше всего хочет идти туда, к нему, потому что просто не хочет ничем замутить свое настроение и это тонкое ощущение внутри, когда что-то зыбкое и расплывчатое начинает приобретать ясную и четкую форму.

Но желание выпить кофе было таким сильным, что она вскочила и обнаженная, с растрепанной головой, помчалась в небольшую гостиную, вторую комнату, выделенную ей в этом доме, в которой хозяйка еще в день ее приезда поставила электрический чайник и показала небольшую горку с посудой. И Лена уже взяла в руки чайник, чтобы налить в него воды, но тут же подумала, что кофе-то у нее нет, и тут же пожалела, что отказалась взять ключи от двери, ведущей в хозяйскую половину, потому что кухня была там, и она бы сейчас точно пошла на эту чужую кухню и нашла бы там банку кофе. Потому что так сильно, отчаянно сильно не просто хотелось – просто нужно было выпить кофе, чтобы прояснить свои мысли, помочь этому внутреннему процессу.

И она какое-то мгновение постояла с чайником в руках, потом поставила его и опять не пошла – помчалась в свою комнату, и начала поспешно одеваться, побивая все свои рекорды по скорости и какой-то бездумности в том, что надеть.

Процесс одевания уже давно перестал быть для нее важным, как для обычной женщины, когда она долго и вдумчиво отбирает, что надеть, меняя то блузку, то туфли. Ее ежеутреннее одевание заключалось в простом выборе: надеть ли шорты, или сарафан, или одну из юбок. И если она выбирала шорты – то выбирала, почти не задумываясь, одну из нескольких легких кофточек. Все это – и выбор одежды, и то, как она выглядит – было так неважно для нее, что она уже и забыла, когда рассматривала себя в зеркале, когда накладывала макияж.

Она приехала сюда, чтобы просто быть такой, какая она есть. Вот она и была – такая, какая есть. Стройная и грустная, со светлыми, как бы выгоревшими волнистыми волосами, которые были разделены на ровный пробор и просто обрамляли ее лицо, спускаясь на плечи, а иногда были заколоты какой-нибудь нехитрой заколкой. Потому что – не до красоты ей было...

Она вышла на утреннюю и непривычно пустую улицу, и пошла быстро, как-то стремительно, потому что идти нужно было в другой конец этого небольшого городка – там был маленький магазинчик, работающий круглые сутки.

Она однажды просто забрела в тот конец города, отметив про себя, что, может быть, когда-нибудь нужно будет что-то купить. Это было в один из первых дней после приезда сюда. И уже спустя несколько дней жизнь ее приобрела совершенную упорядоченность и слаженность, в которой не было никаких других желаний, кроме как проснуться, умыться, причесаться, выпить кофе в ресторане...

Она шла торопливо, но мысли ее были все те же – сосредоточенные на этом ощущении, которое было где-то в глубине ее, что вот еще немного, еще чуть-чуть – и она поймет, что может получиться из этого материала.

Она шла и думала, что главный отрицательный герой у нее уже есть. И теперь ему нужна героиня. И героиня, конечно же, должна быть хорошая. Милая и добрая женщина, противоположность этому монстру, для которого нет ничего святого, который просто красив и циничен и просто использует ее, потому что даже не думает о том, что она чувствует.

Лене понравилось такое начало, потому что оно подходило к этому отвратительному главному герою. И она продолжала выстраивать возможный сюжет, логический ход будущей повести. Она почему-то сразу решила, что это будет повесть, потому что для рассказа одного материала об этом отрицательном герое уже много, а ведь появятся еще какие-то действующие лица.

И она шла уже не торопясь, хотя желание выпить кофе в ней ничуть не утихло, и опять возвращалась к своему плану. У нее есть отрицательный герой. Есть положительная героиня. И она представила себе эту женщину – одинокую, может быть, потерявшую своего любимого человека, с кем ее связывала жизнь. И Лена тут же отмела этот вариант, потому что в этом было что-то из ее жизни. А она не хотела быть рядом с этим типом даже в повести.

Нет, эта женщина должна быть не жертвой каких-то былых отношений. Она – просто женщина, всю жизнь ждущая любовь, всю жизнь прожившая в ожиданиях и не изменившая им. Этакая взрослая, чистая и верная своей мечте Ассоль. И вот она, эта современная Ассоль, которой уже где-то за тридцать, встречает этого ловца женщин, этого паразита, эту похотливую скотину, который оболещает ее, и кончается это все трагедией. Чем еще может кончиться такая история, в которой чистая и хорошая женщина встречается с таким козлом?!

Лена даже не замечала, как мысли в ней стали какими-то энергичными, злыми, возмущенными. Она не замечала, что начинает чувствовать, что уже – чувствует. Что-то, опасное, чего она так боялась, начинает в ней происходить.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.